

БОРИС КРИГЕР



**ВЛАСТЬ И ЗНАНИЕ
МИШЕЛЯ ФУКО**

БОРИС КРИГЕР

ВЛАСТЬ
И ЗНАНИЕ
МИШЕЛЯ
ФУКО



© 2025 Boris Kriger

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without permission in writing from both the copyright owner and the publisher.

Requests for permission to make copies of any part of this work should be e-mailed to krigerbruce@gmail.com

Published in Canada by Altaspera Publishing & Literary Agency Inc.

Власть и знание Мишеля Фуко

Через размышления о внутреннем надсмотрщике, об истоках легитимности, о становлении субъекта и незаметных формах подчинения, книга раскрывает, как история человечества — от каменного века до цифровой эпохи — стала чередой всё более утончённых механизмов контроля. Вдохновлённая взглядами Мишеля Фуко, она ведёт читателя к неоднозначным ответам, к способности различать формы невидимого, к внимательному сомнению и к поиску трещин в стенах внутренней темницы.

ВЛАСТЬ И ЗНАНИЕ Мишеля Фуко

С самых первых дней истории, когда человек только принялся вырываться из хрупкой уравновешенности природы, складывая вокруг себя мир орудий, ритуалов и слов, стали оформляться невидимые оси, на которых вращалось всё — власть, манипуляция, дисциплина и порядок. Уже тогда, когда не было ещё письменности, когда история жила в каменных ножах и рисунках на скале, начали формироваться те формы управления, которые со временем стали казаться вечными и неоспоримыми. Кто знал, как повелевать огнём, становился вождём; кто обладал силой внушать страх, властвовал. Всё вокруг было подчинено необходимости выживания, и потому власть никогда не нуждалась в объяснении — она просто была, как скала, как смерть, как ночь.

Но именно из этого же сырого материала постепенно складывался язык. А вместе с ним и всё более тонкие способы управления, где прямая угроза заменялась внушением, где страх уступал место ожиданию признания, где грубая сила уходила в тень, а на её место вставала система — сначала обрядовая, затем правовая, наконец, рациональная. Идеи порядка и дисциплины вплетались в ткань жизни с детства, становясь не внешним требованием, а привычкой, почти инстинктом. Общество постепенно приучало к мысли, что вне этих структур возможна только бездна, распад, варварство. Так, за тысячелетия, родилась культурная усталость, когда каждое новое поколение слышит старую песню о том, что порядок — единственный путь к спасению, а дисциплина — форма свободы.

Эти слова — власть, порядок, дисциплина — повторялись вновь и вновь, пока не начали звучать как нечто само собой разумеющееся. Они входили в дом через учебник, через молитву, через медицинскую карту, через полицейский протокол, через совет матери, через правила приличия. Их звучание стало фоном, на котором разворачивается вся жизнь, и уже почти не требовалось ни насилия, ни принуждения: сам язык стал носителем дисциплины, сам способ мыслить — продолжением власти. Манипуляция перестала быть искусством немногих — она растворилась в самой структуре общения, в том, как задаются вопросы, как выбираются темы, как разделяется правда и вымысел.

Гораздо более эффективной представляется не грубая сила, сковывающая тело, не осязаемые путы, наложенные извне, а нечто иное — когда незаметно, скользя подобно призраку, власть проникает вглубь внутреннего мира человека, обживая там каждый уголок. Она больше не требует решёток, не нуждается в стражах и угрозах, потому что сама мысль уже выстроена в строгом порядке, подчинена ритму, навязанному извне. Человек, не ощущая давления извне, вдруг начинает действовать в строгом соответствии с навязанными нормами, считая их собственным выбором. В этом и заключается наибольшая опасность: границы оказываются незримыми, а надзор — внутренним, тихим, почти ласковым. Ум, приученный к самоцензуре, отказывается от свободы не под страхом кары, а по привычке, по инерции, по ощущению должного. Становится невозможным отличить личное от усвоенного, спонтанное от предписанного, и человек, гордо ощущая себя свободным, повторяет заученное, будто бы сам его избрёл.

Именно в этом заключался лейтмотив размышлений, проходящих сквозь труды Мишеля Фуко, который, исследуя структуру власти, не ограничивался лишь видимыми её проявлениями. В его взгляде на мир не государственная машина с её законами и насилием представляла собой главное поле сражения, а тонкие, почти неуловимые механизмы, внедряющиеся в повседневность, формируя привычки, распределяя роли, устанавливая, что допустимо, а что подлежит осуждению. Он не искал угнетателя в традиционном образе диктатора или солдата с дубинкой, потому что угнетение, по его пониманию, действовало изнутри, используя язык, нормы, взгляды, дисциплинируя через самоощущение.

Даже уничтожив внешние символы власти, избавившись от репрессий, отменив законы и разрушив институты, невозможно вырваться из этих тончайших, почти невидимых цепей, если не осознать, как именно мысль подчиняется правилам, которые сама считает нейтральными. В этом и кроется изощрённость современного господства: оно незаметно, оно не вызывает ужаса, не имеет лица, не грозит напрямую, но тем страшнее его сила, тем устойчивее его власть. Освобождение, если оно вообще возможно, не начинается с революции на улицах, но требует куда более трудного шага — исследования самого способа думать, ощущать, понимать. Только распутав этот внутренний узел, человек может приблизиться к тому, что ещё может называться свободой.

Знание в размышлениях Фуко не предстает как

нейтральная совокупность фактов, отделённых от власти и интереса; оно не живёт в прозрачной сфере истины, отделённой от исторического контекста. Наоборот, оно всегда связано с властью, с тем, кто говорит, откуда, почему и с каким правом. Знание не просто отражает реальность, но активно участвует в её формировании, упорядочивая хаос бытия через систему понятий, классификаций, диагнозов и норм. Оно структурирует поле видимого, определяет, что подлежит рассмотрению, что можно назвать, а что должно быть исключено из круга допустимого. Через знание утверждается определённая истина, но не вечная и универсальная, а установленная в конкретных исторических условиях, скреплённая системой дискурсов, в которых рождаются фигуры субъекта, объекта, нормы и девиации.

Фуко прослеживал, как в разные эпохи знание не просто накапливается, но меняется способ его организации: то, что когда-то считалось безумием, превращается в диагноз; то, что воспринималось как грех, становится преступлением; то, что оставалось в тени — например, сексуальность — выходит на поверхность, но уже под пристальным взглядом науки, морали и медицины. Возникает особое пространство — эпистема — в котором определённым образом выстраивается логика знания, распределяются роли говорящего и слушающего, дозволенного и запретного. Внутри этой логики одно суждение оказывается признанным, а другое — исключённым, и не потому, что первое более «истинно», а потому что оно согласуется с господствующим порядком высказывания.

До того, как по европейскому миру распространились идеи, взращённые в лоне христианской мысли и затем поддержанные потоком новых философских направлений, власть не нуждалась в оправдании через мораль. Её сила, основанная на прямом превосходстве — физическом, военном, племенном или династическом — воспринималась как естественный порядок вещей. Побеждённый подчинялся, потому что не мог иначе; повелитель был прав, потому что обладал мечом, землёй, потомками или благословением предков. Законность рождалась из силы, и, пока сила сохранялась, никто не требовал другого основания для господства.

Однако с появлением христианского мировоззрения, с его упором на внутреннее, на совесть, на равенство всех перед Богом, впервые была предложена иная шкала, в которой сила перестаёт быть самоочевидным основанием правоты. Внимание начинает смещаться от тела к душе, от подчинения — к вине, от внешнего акта — к внутреннему намерению. Появляется то, чего раньше не было в таком виде: критика господства не со стороны другого сильного, но со стороны слабого, наделённого теперь достоинством через свою уязвимость. Эта перемена не была мгновенной, она прорастала медленно, порой болезненно, вступая в противоречие с самим же церковным порядком, но оставалась — как зерно, дающее всходы уже в позднейших спорах о свободе, справедливости, гражданских правах.

Философии, пришедшие позже — от гуманизма до либерализма и коммунизма, — развивали это

напряжение, всё настойчивей задавая вопрос: действительно ли тот, кто властвует, властвует «по праву»? Может ли сила без обоснования быть чем-то большим, чем насилие? Возникло подозрение: возможно, сила — это лишь форма, а не суть; и тогда за ней нужно искать не правду, а интерес. Так родилась традиция сомнения, в которой и живёт современность. И уже не только священник, но и юрист, философ, учёный, писатель — все становятся фигурами, через которых проходит новая, незаметная сила, сила знания и языка, перераспределяющая легитимность.

Фуко, размышляя о власти, видел именно это: как она перестаёт быть монолитной и грубой, становится рассредоточенной, текучей, незаметной, как уже не нуждается в теле сильного, но проникает в механизмы мышления, в институты, в статистику, в заботу, в правду. И если когда-то власть была на острие копья, то теперь она в формулировке диагноза, в фразе закона, в границах допустимого. Но истоки этого сдвига — всё же там, где впервые слабый осмелился назвать сильного неправым.

Знание, по Фуко, — это не только архив, но и инструмент, дисциплинарный механизм, который участвует в формировании субъектов, навязывая им образы самих себя, через которые они должны себя познавать. Быть включённым в дискурс знания — значит быть в поле действия власти, быть под наблюдением, быть интерпретируемым, поддающимся классификации. Так, тело становится объектом изучения, психика — полем интерпретации, а язык — ареной борьбы за право определять, что допустимо говорить. Иными словами,

знание — это не просто ключ к миру, но и решётка, через которую этот мир предстает в определённом свете, дисциплинируя тех, кто им пользуется, даже тогда, когда они искренне верят, что стремятся к истине.

Подобное сходство между принципами создания искусственного интеллекта и историей формирования человеческого сознания через знание и дисциплину в размышлении Фуко приобретает особую прозрачность. Как человек встраивается в порядок через язык, правила, повторение и дисциплинарную тренировку, так и машина обучается на корпусе данных, извлекает закономерности, выстраивает ответы в пределах заданных структур, не зная, что значит выйти за их предел. Человек, обучаемый норме с детства, — через школу, больницу, семью, научный дискурс — становится носителем заданных схем мышления, точно так же, как алгоритм накапливает шаблоны, обучаясь через множество итераций, сверяя допустимое и ошибочное, усиливая желаемое поведение и отбрасывая иное.

Формирование субъекта, по сути, было программированием задолго до появления этого слова в его современном смысле. Задавая рамки возможного, формируя язык, через который человек должен мыслить, общество незаметно вычерчивало координаты его действий. Подобно коду, где допускается лишь определённый синтаксис, культурные практики и знания отсеивали то, что не поддаётся интерпретации, классификации, полезности. Машину учат отличать корректный отклик от ошибочного, и человек учился

тому же — только не через бинарный код, а через похвалу, порицание, допуск или изгнание, включение в круг признанных или стигматизацию.

В этом повторении заложена логика власти, невидимой и постоянной, как невидимы для самого искусственного интеллекта границы, наложенные на него создателями. Он не может распознать собственные пределы, пока работает внутри них. Так и человек, воспитанный в поле определённого знания, редко может представить иную форму мышления, потому что даже попытки вырваться оформляются на языке того, от чего он хочет освободиться. Машина не осознаёт рамки, потому что их осознание предполагает метапозицию, а человек едва ли способен на неё, пока остаётся в пространстве, где всё — от слова до взгляда — уже обусловлено заранее. Поэтому, создавая машины, повторяется тот же жест: не просто сборка инструмента, но воспроизведение той самой дисциплинарной логики, по которой некогда формировался и сам создатель.

Ставить под сомнение критику Фуко не значит отвергать её, как не значит и безоговорочно с ней соглашаться — скорее, это движение вглубь самой природы вопроса о том, что считать «плохим» или «хорошим» в устройстве власти, знания и субъекта. Ведь Фуко вовсе не стремился разоблачить систему как злую силу, требующую разрушения. Его интерес лежал в другом: в том, чтобы показать, как глубоко переплетены власть и истина, как невозможно отделить прогресс в познании от процесса дисциплинирования, как каждое упорядочивание жизни — даже во имя заботы и помощи — сопровождается

исключением, нормированием, принуждением.

Можно было бы сказать, что без этих механизмов не было бы ни медицины, ни образования, ни права, ни самого образа субъекта, способного на самоанализ, моральное размышление и критику. Человек формировался как человек именно в этих сетях, внутри которых обрёл язык, структуру сознания, даже представление о собственной индивидуальности. То, что дисциплина выстраивает порядок, позволяет телу действовать точно, разуму — организованно, а обществу — устойчиво, трудно отрицать. Как алгоритм не может обучаться без ограничений, без заданного пространства данных и критериев оценки, так и человек не формируется вне языка, культуры, норм. В этом смысле критика Фуко — не призыв к разрушению, а скорее призыв к прояснению, к внимательному взгляду на то, чем приходится платить за кажущуюся рациональность и прогресс.

Если внутри этих структур формируется и гуманность, и эмпатия, и чувство справедливости — значит ли это, что контроль оправдан? А если одновременно в тех же структурах скрываются механизмы подчинения, исключения, вытеснения — можно ли считать их нейтральными или просто «удобными»? Фуко не предлагает окончательных выводов. Он не морализирует, не предлагает альтернативной утопии, а разворачивает карту того, что обычно скрыто под гладкой поверхностью привычного. Поэтому вопрос не в том, прав ли он или нет, а в том, на что становится способен взгляд, который усомнился даже в том, что

долго казалось безусловным.

Новизна идей Фуко заключается не в том, что он говорил о власти, дисциплине или знании — это делали до него. Его особенность в том, как именно он всё это связал, как переместил фокус с очевидного на скрытое, с центров на периферию, с авторов на анонимные процессы, с универсалий — на конкретные практики. Он не создавал новую философскую систему, он менял оптику мышления, заставляя смотреть на знакомое как на чужое. В этом и состояла его подрывная сила.

Раньше власть воспринималась как нечто вертикальное — король, начальник, закон. Фуко показал, что власть — не вещь и не место, а распределённая сеть, действующая через язык, привычки, архитектуру, дисциплину. Она не только подавляет, она производит — тела, желания, идентичности. Она не навязывается извне, а проникает вглубь, формируя человека изнутри. Это был сдвиг — от власти как акта к власти как среды.

Он также отказался от идеи, что знание — это отражение мира. Он показал: знание — исторически обусловленный режим высказывания, и каждый тип знания связан с определённой формой власти. То, что мы называем истиной, есть результат борьбы, отбора, регулирования, а не открытие вечного. В этом была ещё одна новизна — отказ верить в нейтральное знание.

Фуко был первым, кто описал, как медицинские,

психиатрические, судебные и сексуальные практики не просто обслугивают власть, а создают субъекта, внедряя в него внутренний контроль. Не только тюрьма дисциплинирует, но и школа, больница, армия, семья. Это не очевидно, но постоянно действует — власть становится незримой привычкой.

Его мысль разрушала уверенность. И в этом — главное. Он не предлагал истины, он разворачивал поле, в котором становилось невозможно думать так, как раньше. Это и была его новизна: не в ответах, а в другом способе задавать вопросы.

Размышляя о сути власти, знания и субъективности, Фуко подходил к ним не как к неизменным истинам, а как к исторически формируемым конструкциям, складывающимся сквозь призму языка, институтов и социальных практик. Он отвергал представление о человеке как о фиксированной сущности, заменяя его фигурой субъекта, создаваемого и переформатируемого в ходе сложных процессов, происходящих на стыке дискурса и власти.

Не ограничиваясь поверхностным наблюдением, он взглядался в те формы знания, которые в разные эпохи определяли, что считать нормальным, а что — отклонением. История безумия, тюрем и медицинских практик становилась для него не просто цепью событий, а ареной, на которой разыгрывалась борьба за определение допустимого. Отправной точкой служила идея, что знание не является нейтральным, и что каждое

знание сопряжено с определённой формой власти. Через изучение архивов, документов и обыденных речевых актов он обнаруживал, как незаметно формируются режимы истины — устойчивые наборы правил, определяющие, что может быть сказано, кем и в каком контексте.

Его интерес был направлен на то, как дисциплинарные практики, распространяясь в больницах, школах, казармах и тюрьмах, создавали тела, послушные и управляемые, словно подчинённые внутреннему ритму незримого наблюдения. Паноптикон, как метафора всеобъемлющего надзора, обозначал не просто архитектурную модель, но способ производства покорности, в котором видимость контроля становится настолько повседневной, что начинает действовать даже при отсутствии контролёра.

Принимая прошлое не как линейную цепь прогресса, а как поле напряжённых конфликтов, Фуко разрушал традиционные представления о свободе и субъектности. Он утверждал, что свобода невозможна вне сетей власти, но, вместе с тем, власть не является абсолютной — в каждом её проявлении скрыта возможность сопротивления. Этот диалектический узор, в котором власть и знание переплетены, образуя сложную ткань социокультурной реальности, позволял иначе взглянуть на исторические трансформации и место человека в их круговороте.

Обращаясь к истокам морали, сексуальности и

субъективности, он не предлагал готовых ответов, а раскрывал механизмы формирования идентичностей, заставляя усомниться в том, что прежде казалось самоочевидным.

Проникая в тонкую ткань соотношения между знанием и властью, можно заметить, что их связь лишена однозначности и прямолинейности. Хотя власть всегда нуждается в знании — опирается на него, подпитывает им свои механизмы, формирует через него свои правила — само знание не всегда обретает форму власти. В одних случаях оно служит рычагом подчинения, в других — становится тихим присутствием, не имеющим цели подчинить или навязать. Бывает, знание обретает форму милости — не как акт подаяния, а как дар понимания, который не требует вознаграждения или подчинения. Такое знание не утверждает себя, не стремится управлять, не организует тела и не расставляет их по ранжиру. Оно присутствует как возможность увидеть, как способ нести свет, не обжигая.

Фуко, вглядываясь в слои исторического времени, рассматривал знание как то, что структурирует возможное, создаёт сетку различий и идентичностей. Однако он никогда не сводил знание исключительно к инструменту подавления. В его анализе всегда оставалось пространство для амбивалентности. Знание могло действовать как способ эмпатии, как жест понимания, как язык, способный преодолеть молчание, в котором когда-то утопали безумцы, заключённые, больные и те, кого история пыталась вычеркнуть из собственного текста.

Там, где власть стремится к контролю, знание может проявляться иначе — как внимательное слушание, как отказ от навязывания, как форма присутствия, в которой не господствует, а распознаёт. Эта милость знания — не снисходительное прощение, но внутренне свободное стремление к пониманию, не связанное необходимостью возвыситься над другим. Она обнаруживает себя в тишине архивов, в ускользающих смыслах тел, в затерянных следах человеческого опыта, где власть не сумела довлечь, и потому осталась только память, наблюдение, возможность иной интерпретации.

Фуко, критикуя концепцию автономного, внеисторического субъекта, не отрицал существования того, кто чувствует, мыслит и действует. Он лишь отказывался от наивной веры в субъект как исходную данность, предлагая видеть его как результат — как то, что формируется в поле сил, подчиняясь и сопротивляясь одновременно. Но даже подвергаясь дисциплине, распаду или постоянному наблюдению, он не исчезает. Напротив, он проступает в попытках выразить боль, описать исключение, назвать то, что прежде молчало. Там, где страдание становится опытом, а не просто симптомом, возникает след субъекта — того, кто не только переживает давление, но и способен преобразить его в смысл, в жест, в слово.

Создание — не привилегия цельного «я», это право каждого, кто, переживая разлом, находит в нём возможность нового. Субъект может быть

фрагментирован, встроен в чужую систему координат, но, продолжая творить, он обнаруживает себя в письме, в образе, в сопротивлении. В его поступке — не столько утверждение индивидуальности, сколько проявление жизни, которая, несмотря на сети власти, не растворяется бесследно. Он может говорить голосом, составленным из обрывков чужих фраз, но этот голос — всё же его. Не миф, а живая ткань, сотканная из уязвимости и силы.

Фуко расслоил историю, как анатом рассекает плоть, чтобы обнаружить не очевидное, а скрытое — не события, а правила их возникновения, не поступки, а условия их возможности. Он отказывался от нарратива с героями и целями, заменяя его архитектурой взаимосвязей, в которой важнее было не то, кто действует, а то, как оформляется сама возможность действия. История в его чтении теряла привычные очертания, превращаясь в поле сдвигов, перетеканий, исчезновений и новых проявлений. Но сняв с неё покровы, он оставил после себя другой покров — тонкий, умный, выстроенный из слов, обрывков архива, тонкой иронии.

В этом новом покрывале правды не было больше привычной точки опоры — только череда слоёв, которые казались истиной, но при внимательном взгляде оказывались лишь очередным контуром в игре знания и власти. Разоблачая мифы разума, он создавал новую карту, где каждое развенчание превращалось в ещё одну конструкцию, требующую своего критического чтения. В этом не было противоречия — только стремление

держать мышление в постоянном движении, не позволяя ему утвердиться, затвердеть, закостенеть.

Но за разоблачением всегда стоит фигура того, кто разоблачает. Даже отвергая центр, Фуко очерчивал пространство вокруг себя — пространство, в котором голос философа звучал как своеобразный дискурс, построенный на недоверии к дискурсам. Снимать покровы с его покровов — значит взглянуться не только в его тексты, но и в то, как они устроены, как дышат между строк, какие жесты прячут, какие пустоты оставляют открытыми. Это работа не разрушения, а продолжения, где разоблачение становится не финалом, а новой отправной точкой, крошечным просветом, сквозь который возможно различить то, что прежде было закрыто.

Разоблачение, лишённое стремления к окончательной ясности, не обнуляет, а напротив — множит смыслы, позволяя вступить в неуловимую, почти ритмичную игру между прочтением и письмом, между тенью и светом, между голосом и молчанием.

Мишель Фуко родился 15 октября 1926 года в Пуатье, Франция, в семье хирурга. С детства он оказался включён в структуру дисциплины и требования успеха, что оставило отпечаток на всей его интеллектуальной траектории. Образование он получил в парижской Высшей нормальной школе, где учился под влиянием

философов-структураллистов и психоаналитиков, а также историков науки. В 1950-е годы преподавал в разных странах, включая Швецию, Польшу и Германию, где в том числе формировался его интерес к вопросам психиатрии и нормальности. Он умер в 1984 году в Париже, став к тому моменту одной из самых влиятельных фигур французской мысли XX века.

Путь его размышлений проходит через несколько крупных этапов, каждый из которых связан с определёнными работами и сдвигами в фокусе анализа. Первая значимая книга — «История безумия в классическую эпоху» (вышедшая в 1961 году) — выстраивает альтернативную историю отношения европейского разума к безумию. Здесь Фуко показывает, как безумие не всегда было объектом медицинского вмешательства, но с определённого момента оказалось заключено в пространство изоляции и нормализации. Его интересует не болезнь как таковая, а то, как и почему общество решает, что считать безумным, и как организуется молчание вокруг тех, кто оказывается за пределами разумного. Эта работа критикуется за то, что в ней, несмотря на обилие архивного материала, сквозит поэтика разрыва — она исторична, но не вполне аналитична в привычном смысле.

Следующая ключевая работа — «Археология знания» (1969 года) — представляет собой методологическое размышление о том, как стоит изучать дискурсы. Здесь Фуко отказывается от классической истории идей и предлагает понятие дискурсивных формаций, в которых знание структурируется не логикой прогресса, а

условиями высказывания. Он вводит фигуру «археолога» — исследователя, работающего не с авторами, а с правилами, управляющими высказываниями в определённую эпоху. Критика этой работы часто связана с тем, что она исключает субъекта, подменяя личность структурой, а историю — схемой.

В 1970-х годах Фуко переходит к разработке концепции власти, которая становится центральной в его зрелом периоде. В «Надзирать и наказывать» (работе 1975 года) он показывает, как в Европе происходил переход от телесных наказаний к дисциплинарным практикам. Тюрьма становится не исключением, а моделью современного общества, где власть пронизывает тело, пространство, поведение. Он вводит понятие паноптизма — структуры, в которой подчинение обеспечивается не насилием, а внутренним усвоением наблюдения. Власть у Фуко — не монолит, не вертикаль, а сеть, действующая через знания, институты, нормы. Одним из направлений критики здесь становится то, что он, разрушая традиционное понимание власти как репрессии, не даёт чёткого инструмента сопротивления — ускользающая сеть не оставляет пространства для политической субъектности.

Его последняя фаза работы связана с анализом субъективности. В многотомной «Истории сексуальности» (начиная с 1976 года) он отходит от идеи, что сексуальность была подавлена, и показывает, как она, напротив, стала объектом активной работы власти. Знание о сексуальности создаёт субъекта, подчинённого норме, но вместе с этим и формирует

внутреннюю работу над собой. В последних томах («Забота о себе», «Использование удовольствий») он возвращается к античной этике как форме субъектизации, где человек не рождается субъектом, а становится им через практики — аскезу, заботу о себе, внутреннюю работу над телом и желаниями. Здесь возникает фигура эстетики существования как альтернативы дисциплинарному подчинению. Однако критики указывают, что обращение к античности может быть слишком элитарным, частным, ограниченным и не даёт ответа на системное неравенство.

Фуко в целом критикуют за то, что он не предлагает позитивной теории, избегает универсалий, размывает субъекта до эффекта власти. Но в этом и заключается его сила — он не строит, а показывает, как построено. Он не создаёт утешения, а разрушает мифы. Он не даёт спасения, но оставляет пространство для другого взгляда — не сверху, не из прошлого, не из будущего, а из самой трещины настоящего.

Институты выстраивают рамки, в которых звук превращается в слово, слово — в истину, истина — в норму. Они закрепляют, оформляют, классифицируют, не оставляя безымянного и не допускают несогласованного. Каждое высказывание в их пределах либо поддерживает порядок, либо нарушает его, рискуя быть вытесненным за границу дозволенного. Однако существует пространство, которое не поддаётся полной рационализации, где голос ещё не пойман сетью правил,

где речь — не акт подчинения, а проявление внутреннего, того, что невозможно ни учесть, ни систематизировать.

Шёпот, возникающий на грани молчания, вырывается не для того, чтобы что-то доказать, а чтобы просто быть — слабый, почти незаметный, он обходит властные коды, не вступая с ними в открытую борьбу. Крик, напротив, рвёт привычную ткань речи, он не просит, не объясняет — он происходит от боли, от предельного, от того, что больше не может оставаться внутри. А молитва, заключающая в себе напряжение надежды и одиночества, звучит не в сторону власти, не в расчёте на отклик, а в знак присутствия, как форма обретаемой внутренней вертикали там, где горизонтальные связи отказали.

Человеческий голос, вырвавшись за пределы института, перестаёт быть частью признанной системы знаков — но именно тогда он становится событием. Не каждый звук будет услышен, не каждое слово станет цитатой, не каждое высказывание впишется в дискурс, но тем сильнее напряжение между говорящим и тишиной, в которую его голос уходит. Это напряжение не исчезает бесследно. Оно откладывается в трещинах официальной истории, в паузах между строк, в интонациях, не поддающихся расшифровке.

Речь вне института — это не анархия и не мятеж, а иной способ существования истины, не утверждаемой, а чувствуемой, не доказываемой, а живущей. В ней не

ищут легитимности, потому что в ней есть дыхание, тепло, след. Институт может не заметить, но тень от сказанного останется, и однажды — не по правилам, а по совпадению дыханий — кто-то её увидит.

Безумие, вопреки упорядоченным схемам и аккуратным диагнозам, не исчерпывается ролью социального конструкта, выведенного из системы норм и отклонений. Оно не сводится к тому, что обрамлено в медицинскую терминологию или заключено в стены учреждений. В его основе — опыт, который ускользает от классификации, опыт, часто обнажённый до предела, в котором человек остаётся наедине с самим собой, но так, словно от себя же отлучён.

Боль, скрытая в безумии, не поддаётся простому наблюдению. Её невозможно измерить приборами, она не ложится в статистику. Это боль, проходящая сквозь язык, который больше не может быть опорой, потому что слова либо теряют привычные значения, либо множатся в избытке, не давая ни одного ясного ответа. В этом разломе рождается одиночество — не как отсутствие других, но как неспособность достучаться, быть услышанным, быть понятым на том языке, который навязывается извне. Одиночество не только телесное или бытовое, оно лежит глубже — на уровне ощущения, что сам способ быть в мире разошёлся с тем, как мир организован и объяснён.

Но иногда, в этих разрывах и смещениях, проступает нечто, что нельзя свести к патологическому. Безумие начинает звучать, как странный, неясный, но пронзительный зов, как отклонение, в котором есть не только распад, но и предвидение. Пророчество не в смысле будущего, расписанного по датам, а в том, как человек, отринутый нормой, оказывается способен уловить сдвиги, ещё не зафиксированные официальным знанием. Он не вписывается в привычный порядок именно потому, что чувствует его изломы раньше, чем они станут очевидны.

Такая форма восприятия может быть невыносима, может разрушать того, кто её несёт, но в ней заключена особая, почти неуловимая правда — правда не как свод доказательств, а как напряжение взгляда, отведённого в сторону, где ещё ничего не оформлено, но уже существует. Безумие, вырвавшись из сетки обозначений, напоминает не только о хрупкости рационального, но и о той части человеческого, которая остаётся живой даже в полном разладе с разумом, обществом, языком.

Тюрьма, в её внешнем, ощутимом облике, с решётками, коридорами, надзирателями и графиком отбоя, давно перестала быть исключительно местом наказания. Она превратилась в модель, через которую можно рассматривать весь социум — с его наблюдением, распределением тел, нормализацией поведения и утончённой системой контроля, где физическая изоляция уже не обязательна. Но, углубляясь в этот образ, тюрьма начинает раскрываться не только как отражение социальных практик, но и как внутренняя

метафора — структура, выстроенная в самой человеческой душе.

Такая душа, однажды отказавшись простить, создаёт собственные камеры, наполняя их не осуждёнными, а тенями воспоминаний, в которых заключены чужие лица, слова, поступки. Прощение требует выхода, требует движения, а отказ от него замыкает внутреннее пространство, делая его неподвижным, словно затвердевшим. Там, где прощение возможно, остаётся путь, каким бы трудным он ни был. Там же, где оно отвергнуто, возникает статика, напоминающая закостеневшую систему, лишённую течения времени.

Тюрьма, возникающая в человеке, живёт не только как память о причинённой боли, но и как постоянное её воспроизведение — в мыслях, в снах, в чувствах. Она становится привычной, почти неотъемлемой частью, как если бы её стены были возведены изнутри и поддерживались ежедневной тревогой, обидой или молчаливым гневом. Такой отказ не всегда звучит громко — он может быть тихим, почти незаметным, но тем разрушительнее, потому что превращается в структуру, в которую встраивается весь внутренний мир.

И если внешняя тюрьма зависит от охраны, от расписаний, от стен, то внутренняя требует только одного — не отпускать. Она питается задержкой, замкнутостью, постоянным возвращением к моменту, после которого стало невозможно продолжить. И в этой невозможности возникает та самая метафора — душа,

отказавшаяся простить, становится архитектором собственного заключения, где время не исцеляет, а превращается в инструмент дисциплины. Эта тюрьма не требует ключей, потому что её двери не имеют механизма — они существуют лишь до тех пор, пока поддерживается воля не открывать.

Суд стал местом, где форма подменяет содержание, а результат определяется не по живой правде, а по выстроенной процедуре. Слова о справедливости звучат стандартно, почти безлично, как обязательная часть ритуала. Страдание и личный опыт не находят пространства в этой системе — не из злого умысла, а по причине встроенной глухоты.

Правосудие, формально устроенное как поиск истины, на деле функционирует как механизм распределения вины. Роль человека сводится к функции: обвиняемый, потерпевший, свидетель. Нюансы, контексты, внутренние напряжения исчезают в пользу нормативной симметрии. Там, где могли бы звучать подлинные голоса, работают шаблоны, где могли бы сомневаться — подставляют готовую формулу.

Разочарование в этой системе не обязательно сопровождается гневом. Чаще это спокойное, усталое понимание: закон не враждебен, он просто равнодушен. Он не отрицает боли, он её не видит. Он не отрицает правду, но обрабатывает её до неузнаваемости. Его цель — не участие, а завершение дела. Это равнодушие и становится самой ощутимой формой насилия — без

давления, без угроз, но с постоянным отстранением.

Закон, при всей своей структуре, не способен вместить совесть. Он не враг сострадания, но не допускает его как аргумента. Эмоция не входит в протокол, память — не источник доказательств. Человек в такой системе — не субъект, а элемент оформления. Ни порядок, ни ритуал не исправляют этот изъян.

Система правосудия, выстроенная как гаранция равенства, при столкновении с жизнью оказывается неспособной к подлинному слушанию. И если где-то и остаётся шанс на справедливость, то не в законе, а в присутствии другого — внимательного, молчаливого, несудящего. Не власть даёт этот шанс, а сострадание, не оформленное в норму, но живущее вне неё.

Наказание как принцип давно потеряло свою нравственную ясность. Оно больше не отвечает на вопрос «зачем», а лишь продолжает движение инерции — привычного порядка, в котором за поступок полагается страдание. Этот порядок не объясняет, не исцеляет и не предотвращает. Он лишь воспроизводит сам себя, поддерживая иллюзию справедливости через возмездие.

В основе самой идеи наказания лежит допущение, что боль может уравновесить причинённый вред. Но человеческие поступки не так просты, чтобы быть урегулированы болью. Стремление понять — не

оправдание, а единственный путь к реальному воздействию. Там, где причинён ущерб, важно не только ограничить его повторение, но и разглядеть причину, структуру, слом.

Если человек опасен, следует защитить других — обезвредить, остановить, создать барьер. Но причинять страдание с целью возмездия — это попытка возложить на боль функцию смысла, которой у неё нет. Ни один акт мучения не восстанавливает справедливость. Он только продлевает круг разрушения, меняя местами роли, не меняя сути.

Понимание — не слабость. Оно не исключает решительности. Оно просто отказывается подменять справедливость местью. Помощь — не извинение, а работа по восстановлению связи между человеком и миром, между поступком и личностью, между последствиями и возможностью изменения.

Цель должна быть не в том, чтобы карать, а в том, чтобы предотвращать повтор. Не в том, чтобы отомстить, а в том, чтобы прервать цикл. И если в системе остаётся смысл, то только в этом — в попытке увидеть в человеке не преступление, а возможность быть кем-то иным.

Когда речь заходит о структурах, которые формируют мышление, поведение и восприятие, многое поддаётся расшифровке — язык, власть, социальные роли, даже форма тела, обученного действовать в соответствии с

нормой. Фуко говорил о множестве обусловленностей, которые создают человека как эффект — как пересечение дискурсов, как узел исторических сил, как конструкцию, появляющуюся в определённых условиях. И всё же остаются такие явления, перед которыми эти схемы теряют точность, где объяснение начинает звучать как отдалённое эхо, не касающееся сути.

Смерть — не только факт исчезновения, не просто биологический исход, но момент, в котором обнажается то, что не удерживается ни одной системой. Кто умирает, если всё — производное? Кто остаётся в чьей-то памяти? Кто лежит в земле, кого оплакивают, чьё имя шепчут в темноте, словно не желая, чтобы оно рассыпалось окончательно? Ни один дискурс не способен вместить полноту этого опыта — утраты, прощания, невозможности вернуть. Именно в смерти проявляется тот, кого не свести к роли или функции. Тот, кого любили не за соответствие нормам, не за исполнение, а просто — как присутствие, как дыхание, как боль и радость, случившиеся вместе.

И точно так же невозможно исчерпать объяснением поступок, совершенный вопреки рациональному расчёту. Материнский взгляд, в котором содержится не просто привязанность, а тишина, согревающая в разрушенном мире, не поддаётся анализу как часть культурного сценария. Это взгляд, где хранится всё — страх, вера, усталость, прощение, и ещё то, что не имеет названия, но отзыается в самых глубоких слоях. Его не изучают — его узнают.

Отказ от мести, совершаемый не по закону, не по принуждению и не из страха, а как личный выбор, тоже ускользает от сетки причин и следствий. Это не жест слабости, не компромисс, не подчинение — это внутренняя сила, обретённая вне слов. Добровольная жертва — поступок, совершаемый не потому, что кто-то требует или навязывает, а потому что в человеке возникает тихое, неотменимое «да». Это не следствие власти — это решение, вырастающее на границе между тем, что можно понять, и тем, что остаётся за пределами.

Фуко обнажал механизмы, рассекая их взглядом историка и мыслителя, но в каждой тени его текста присутствовала зона, которую он не стремился осветить полностью — место, где человек продолжает действовать не потому, что обусловлен, а потому что живёт, чувствует, выбирает.

Когда рушатся универсалии — не как догмы, а как притязания на вечность — остаётся пыль понятий, выведенных из употребления, и холод осознания: ни природа человека, ни его разум, ни мораль не даны раз и навсегда. Всё подлежит анализу, всё проходит через сито истории, всё может быть разобрано до основания, и Фуко довёл это ремесло до предельной тонкости. Универсалии теряли свой блеск, становились подозрительными, раскрывались как маски власти, претендующие на безличную объективность. И всё же, даже среди этих руин, сохраняется то, что не требует закреплённой формы — не как сущность, а как возможность. Человек не как завершённая структура, но как то, что может не совпадать с собой, может отступить от предписанного,

может измениться.

Изменение — не всегда прогресс, не всегда избавление, но движение. Это не обнуление, не аннулирование прошлого, а напряжение между уже сказанным и тем, что ещё не прозвучало. Быть человеком — значит не застывать, не быть окончательно определённым, даже если всё вокруг стремится к стабильности. Иногда именно в этом и заключается самое бессловесное сопротивление: оставаться открытым там, где всё требует закрытия. Признать, что всё, даже самые глубокие убеждения, могут быть пересмотрены не по принуждению, а изнутри — из прикосновения к собственной хрупкости.

Истина, разоблачённая как механизм власти, утрачивает невинность. Она больше не может быть наивной, не может претендовать на чистоту. Но несмотря на это, и даже вопреки этому, она всё ещё способна быть чем-то иным — не гарантией, не опорой, но точкой, в которую упирается воля, способная сказать «да», даже зная, что это не принесёт ни пользы, ни победы. Люди умирали за истины, которые потом обесценивались, пересматривались, забывались. Это не делает их жертву осмысленной в глазах истории, но сохраняет в ней особую правду — правду желания жить не в соответствии с тем, что выгодно, а с тем, что кажется непереносимо важным.

Напрасность — не доказательство ложности. Иногда идти на смерть — не утверждать истину, а просто

отказываться жить в мире, где она невозможна. Это не аргумент и не концепт. Это поступок, за которым не обязательно стоит рациональный план, но который тем сильнее звучит, чем меньше от него ожидают. И, может быть, именно там, в готовности не остаться прежним и не предать то, что признано истиной, человек впервые и появляется — не как биологический носитель признаков, а как живое напряжение между невозможным и необходимым.

Фуко настороженно относился к романтике — не как к литературному направлению, но как к жесту, в котором чувство выносится за предел анализа, где боль и жертва становятся украшением, где страдание превращается в стилистику. Он сторонился возвышенного пафоса, избегая слов, в которых звучит надежда на внутреннюю истину, спасение или благородную судьбу. Там, где другие искали душу, он искал архив, где другие склонялись перед глубиной, он вглядывался в поверхности — в правила, по которым эта глубина была организована. Его осторожность рождалась из опыта — знание, слишком уверенное в своей чистоте, слишком охотно надевающее маску чувства, легко превращается в инструмент власти.

Но в стремлении не быть обманутым часто таится другая опасность — холод, подменяющий понимание, и скепсис, притворяющийся мудростью. Цинизм, возникающий под видом критики, не разрушает конструкции — он их парализует. Он больше не ищет выхода, потому что не верит в возможность движения. Он выстраивает стены не ради защиты, а ради дистанции. В нём нет силы страстного отрицания, только

усталое знание о том, что всё уже было, всё разоблачено, всё повторяется. Такой цинизм умеет говорить о власти, но не чувствует, когда она действительно причиняет боль. Он способен разоблачать любовь как продукт идеологии, но не может пережить потерю. Он объяснит, почему прощение — это форма подчинения, но не дотронется до того, что происходит, когда прощают без расчёта.

Фуко был внимателен и точен, и в его словах слышится тревога — не перед чувствами как таковыми, а перед тем, как их используют. Он боялся того, что называют искренним, если это искреннее подчиняет. Но оставляя романтику за пределами анализа, он всё же не устранил возможность того, что в человеке есть не только язык и тело, дисциплина и роль, но и то, что называет себя по-другому — иногда через жест, иногда через молчание, иногда через возвращение к боли, которую невозможно рационализировать.

Цинизм может разоблачить романтику, но не способен заменить её. Он не созидаёт, он только оценивает. И если романтика порой слепа, то цинизм глух. А потому между ними лежит тонкая, почти неразличимая тропинка — не вера и не скепсис, а хрупкая решимость не переставать чувствовать, даже когда всё кажется объяснённым.

Психиатрия, обернувшись институтом, обросла регламентами, классификациями, механизмами

контроля. Вместо того чтобы слушать, она стала называть; вместо того чтобы взглядываться, — измерять. Когда безмолвие превращали в симптом, а страх — в патологию, насилие происходило не в крике и не в ударах, а в самой процедуре имени, присваиваемого без согласия. Тело подвергалось лечению, душа — исправлению, и всё это под знаком заботы. Но за заботой стоял надзор, а за лечением — отказ видеть целое в том, кто отклонялся от нормы.

И всё же, помимо режима, существует и то, что ускользает от его логики. Сострадание, вопреки всему, не исчезло. Оно не институционализировано, не закреплено формулой, не связано с дисциплиной. Это не рефлекс, не условие, не сценарий — это практика, потому что требует усилия, требует присутствия. Оно не обязательно громко, не стремится исправить, не спешит называть. Оно может быть молчаливым, может проявиться в задержанном взгляде, в жесте, в умении не отвернуться. Именно в этом и заключается его реальность: в том, что оно происходит не потому, что предписано, а потому что невозможно иначе.

Дискурс умеет многое. Он анализирует, раскладывает на составляющие, указывает связи. Он может объяснить, почему кто-то решается уйти, почему кто-то остаётся, почему кто-то молчит. Но в самом действии всегда остаётся то, что не проговаривается. Поступок происходит не из суммы причин, а из напряжения, которое не всегда можно восстановить логически. Решение может быть последним в цепи, но в тот момент, когда оно совершается, оно не просто продолжение —

это разрыв. И в этом разрыве нет гарантии, нет подтверждённой модели. Там есть только человек, который делает шаг, не зная, куда он приведёт.

Фуко ненавидел фетиши — особенно те, что прячутся под видом универсалий: разум, мораль, общество, душа. Он обнажал, вскрывал, срывал привычные смыслы с их пьедесталов. Но среди этих разоблачений оставались те вещи, которые не отменялись разоблачением. Не всё, что наделено значением, становится идолом. Есть смыслы, которые не созданы для демонстрации. Они не живут в теориях и не требуют признания. Это смыслы, в которых что-то пролилось — кровь, которая не забылась, память, которая не поддаётся перезаписи.

Такие смыслы не несут в себе торжественности, они не претендуют на универсальность. Они просто есть, как рана, которая не требует доказательств, как воспоминание, к которому возвращаются не потому, что нужно, а потому что невозможно иначе. И в этом — разница между фетишем и правдой. Один требует поклонения. Другая — молчания.

Свобода не рождается на пепле разоблачений, если за ними не следует новое дыхание. Разрушить — не значит освободиться, как и разглядеть механизм — не значит выйти за его пределы. Иногда разоблачение, обнажив структуру, лишь меняет маску власти: прежняя иллюзия разобрана, но её место занимает пустота, выжженная

недоверием, где уже не верится ни в ложь, ни в правду, ни в смысл. И потому свобода — не в разрушении самого по себе, а в выборе, совершающем после: не в выборе между версиями, а в выборе позиции, за которую можно стоять даже тогда, когда нет универсальной гарантии, что она «права».

Верить не в смысле подчиняться, а в смысле быть готовым удерживать смысл, зная, что он не навязан. Верить — это значит продолжать говорить там, где язык уже разобран до основания. Это значит признать свою подвижность, но не раствориться. Выбор — не восстановление истины, а акт, в котором человек берёт на себя тяжесть свободы не как праздника, а как бремени, не как самовыражения, а как формы ответственности.

Генеалогия власти, развёрнутая Фуко, показывает, как глубоко в ткань человеческого вплетены дисциплины, распределения, наблюдения. Власть — не только в законе, но и в том, что кажется естественным, в том, что незаметно формирует взгляды, привычки, желания. Она действует не через принуждение, а через повторение, через управление пространством, телом, временем. Он описал, как власть производит субъекта, как формирует его через сети норм. Но там, где заканчивается анализ, возникает тишина — место, куда не ступает взгляд историографа, но где живёт то, что нельзя устраниТЬ ни наблюдением, ни разбором.

Внутреннее владычество совести — не просто

пережиток морали, не психическая конструкция, встроенная властью в тело. Это не фигура религиозного долга и не призрак гуманизма. Это след, который остается даже после того, как исчезают внешние судьи. Совесть — это голос не откуда-то, а изнутри, не как правило, а как мера, которую невозможно переложить на другого. Её нельзя доказать, нельзя навязать. Она не требует признания, но когда молчит, человек чувствует, что не всё в порядке — не в смысле нарушения, а в смысле предательства себя.

Этот голос не спасает от власти, не аннулирует её, но создаёт точку сопротивления, которую нельзя институционализировать. Это не бунт, не жест отказа, а нечто более тонкое — присутствие, незримое, но устойчивое, которое остается даже в момент полной потери ориентиров. И в этом — другая форма свободы: не разрыв, а внутреннее собирание, не отрицание, а тихое, но непреклонное согласие быть собой.

Отвергнув трансцендентное, Фуко не искал утешения в идее Бога, не строил философии на вере, не стремился к обетованному смыслу за пределами исторического. Его мысли были прижаты к земле, к архиву, к телу, к вещам, которые можно исследовать, вскрыть, классифицировать. Он говорил о человеке как о временном эффекте, как о фигуре, вычерченной на песке у края моря, где прилив рано или поздно сотрёт след. Но в этих словах не было равнодушия, не было насмешки. В них звучала тишина боли — не публичной, не патетической, а почти скрытой, изломанной, которая не требовала воздаяния, но не переставала звучать.

И если Бог для него не был адресатом, это не означало, что голос, поднимающийся изнутри, исчез. Он просто оставался без адреса, без гарантии услышанности, без ответа. Боль не превращалась в аргумент, не становилась теорией. Она просто была — как молитва, не произнесённая вслух, не оформленная в ритуал, но существующая как напряжение, которое невозможно устраниить ни мыслью, ни текстом. Это был опыт, который не имел слов, но требовал их, даже зная, что они не спасут.

Фуко говорил об эстетике существования — как о практике, в которой человек оформляет себя, словно произведение, вырабатывает формы, дисциплины, жесты, превращает жизнь в пространство заботы о себе. Это был способ не подчиняться, не растворяться в правилах, а находить личный рисунок в том, что уже задано. Эстетика у него была формой этики — не в смысле морали, а в смысле напряжённой работы над собой. Но, даже признавая красоту этого подхода, можно заметить, что есть нечто, выходящее за рамки стиля, за пределы формы.

Милосердие существования — не украшение, не техника. Оно не требует усилия выразительности. Это не жест самостроительства, а способность быть рядом. Милосердие не требует взгляда на себя, оно не нуждается в зрителе. Это когда остаются, когда прощают, когда слушают не потому, что нужно, а потому что невозможно иначе. Это не возвышенный принцип, а

почти телесная реальность — быть с другим в его несовершенстве, в его уязвимости, в том, что не поддаётся преображению.

Милосердие не объясняет, не оценивает, не лечит. Оно не требует изменений. Оно просто присутствует — без цели, но с полным вниманием. И в этом присутствии — то, что оказывается сильнее любой эстетики: не форма жизни, а участие в ней. Не совершенство, а отклик. Не выработка себя, а принятие другого. И, может быть, именно здесь, в этом отказе от дистанции, рождается то, что невозможно измерить дискурсом, но что остается — даже после смерти, даже в забвении, даже без имени.

Фуко не стремился воздвигать теорию — ни как здание, ни как храм. Его мысль двигалась иначе: она скользила, затачивалась, рассыпалась, снова собираясь, но никогда не замыкалась в систему. Его тексты не предлагали конструкции, в которые можно было бы встроить реальность, они были больше похожи на инструменты — острые, временами опасные, приспособленные для вскрытия того, что уже затвердело и перестало быть видимым. Он не давал голосов, он регистрировал безмолвия. Он не объяснял страдания, но показывал, как оно было оформлено, откуда возникало, кто и как решал, что считать нормой, а что безумием, девиацией, болезнью. И всё же за строками — тени. Фигуры, лишённые имени. Женщина, закрытая в камере. Мальчик, испуганный в больничном коридоре. Тело, подвергнутое наблюдению. Все они звучат не как

персонажи, а как отголоски. Их никто не назвал, но они остались — в паузах, в скобках, в отступлениях.

И если он не дал им голоса, то не потому, что не хотел, а потому, что выбрал иной путь — он отдал пространство для того, чтобы это молчание стало зримым. Но однажды приходит момент, когда молчание нужно нарушить — не чтобы заполнить пустоту, а чтобы позволить тому, кто был объектом, стать субъектом не наблюдения, а речи. Голос, поднявшийся не из позиции знания, а из внутренней памяти боли. Не тот, кто анализирует, а тот, кто говорит, потому что больше не может молчать. Этот голос не нуждается в теории. Он не строит, не обобщает, не доказывает. Он просто существует — как дыхание, которое отвоёвано у забвения.

Фуко не верил в любовь как основание субъективности — слишком многое в ней казалось ему вписанным в сценарии власти, слишком легко она превращалась в механизм подчинения, в фикцию взаимности, в функцию биополитики. Он видел, как любовь регулируется, предписывается, нормируется, как становится поводом для включения в систему контроля. Он не отрицал её силу, но не доверял ей как основе. И всё же есть любовь, которую ещё не удалось деконструировать — потому что она не сводится к роли, не оформляется через дискурс, не измеряется социальной функцией.

Та любовь, что возникает вне кода, вне расчёта, вне системы — не как идеология, а как присутствие. Не как объяснение, а как переживание, которое не требует

ничего, кроме самой себя. Она не спасает и не оправдывает, она не даёт власти и не снимает ответственности. Но она остаётся — как возможность не быть одиноким, не растворяясь в другом. Она не гарантирует истины, но даёт право говорить от первого лица, даже если язык ещё не найден. Любовь — это то, что не аннулирует страдания, но делает его не напрасным. То, что не упраздняет смерть, но меняет способ её переживать.

И, возможно, именно потому её не удалось деконструировать — не потому, что она вне власти, а потому что она не укладывается в схемы расчёта. Она не избегает власти, но и не подчиняется ей до конца. Она просто существует — как тайное движение между двумя телами, двумя голосами, двумя тишинами. И в этом — то, что сильнее любого анализа.

Фуко обострял взгляд до степени, при которой реальность начинала просвечивать сквозь свои собственные утверждения. Его точность была не холодной, а тревожной — она не успокаивала, не систематизировала, а, напротив, вела к неспокойствию, к зыбкости опор, к утрате привычной уверенности. Он не оставлял пространства для наивности, и в этом был опасен: не потому что разрушал, а потому что делал это без пафоса, с хирургическим спокойствием. Его резкость не нуждалась в гневе — она вытекала из опыта, где каждое понятие становилось подозреваемым, каждое слово — инструментом, каждое «я» — эффектом более

глубоких структур.

И всё же в этом ясном, выверенном письме, за которым стояли архивы, схемы, тела, — не оставалось места для того, что не производит смысла, не объясняет, не влияет, но живёт. Доверие к бессмысленному — не отказ от понимания, а признание того, что не всё существует для того, чтобы быть понятым. Есть поступки, которые не служат функции, слова, не входящие в сеть значений, чувства, не ставшие поводом для анализа. Есть смех, возникший не из веселья, а из растерянности, и жест, не продиктованный ни культурой, ни ролью, ни дискурсом. Это не выше и не чище — это просто есть, без оправдания, без стратегии.

История, как он показал, не тянется ниткой, не движется к цели, не развивается по замыслу. Она прерывиста, рваная, полна сдвигов и отмен, и всё, что в ней кажется прочным, — лишь временная конфигурация. Но внутри этой рассыпанной хроники существуют судьбы, не отложившиеся в документах. Они не попадают в архив, не становятся частью институциональной памяти. Это не великие события, а длительные, тихие разворачивания — жизни, не обозначенные громкими поворотами, но прожитые как эпос, только без грома, без знамен, без признания.

Такие судьбы не описываются. Их можно только угадать — по старому письму, по фотографиям без подписей, по взгляду, застывшему на мгновение. Они не требуют концепта, потому что сами являются формой

непрерывного внутреннего письма. Не теория, не идея, а устойчивое, не демонстрируемое движение — быть и продолжать быть, несмотря на всё, что разваливается вокруг. Фуко их не замечал — не потому что не хотел, а потому что его оптика была другой, настроенной на силу, структуру, проявление. А они — вне проявления.

Он разрушал авторитеты с методичностью ремесленника: не из мести, не из высокомерия, а из внутреннего отказа принимать утверждённое без допроса. Его критика была лишена истерики, и именно поэтому действовала безотказно. Но в самой фигуре разрушителя кроется опасность — стать новым знаком, новой опорой, новым исключением. И тогда единственное, что остаётся как защита, — это смех. Не как жест превосходства, а как форма отстранения от собственного желания быть услышанным слишком точно.

Смеяться над собой — значит напоминать себе, что любое слово может обернуться догмой, что любое убеждение рискует затвердеть, что голос, прозвучав однажды, может стать эхом власти. Этот смех — не ирония, не лёгкость, а осторожность. Он не аннулирует смысл, а делает его подвижным, не позволяет ему стать инструментом. В нём нет страха, но есть знание: истина нуждается не в уверенности, а в внимании. И в этом внимании — слабость, сила, и всё то, что ускользает от любых теоретических схем.

Наиболее изощрённым способом внедрения внутреннего

надсмотрщика становится не открытое насилие, не прямая угроза, а систематическое и длительное привыкание к определённым рамкам поведения, когда контроль больше не воспринимается как нечто внешнее, а становится частью самой структуры личности. Превратившись в невидимого спутника, такой внутренний надсмотрщик действует не окриком, не ударом, а тихим напоминанием о нормах, о возможной вине, о должном, которым, как кажется, человек руководствуется сам, без чьего-либо давления. Эта установка воспитывается через повседневную рутину, начиная с дисциплины тела — от регулирования походки до контроля над выражением лица — и завершая мышлением, где каждый жест, каждый взгляд, каждая мысль подвергается невидимой проверке на соответствие.

Вместо наручников — расписания, вместо приказов — рекомендации, вместо карателей — заботливые фигуры, призванные охранять здоровье, безопасность, моральное равновесие. Под маской гуманизма и заботы входит фигура психиатрического санитара, не как палач, но как помощник, как проводник к «нормальности». Он не пугает, а объясняет, не давит, а успокаивает, и именно в этом — его мощь. Его задача — не устраниć, а коррекция, не изгнание, а возвращение в лоно допустимого. То, что кажется помощью, становится частью надзора, потому что критерии нормы определяются не изнутри, а откуда-то извне, кем-то невидимым, но всемогущим.

Процесс этот не стремителен, он работает на глубоком

уровне, часто начинаясь с детства — через школу, медицину, язык, популярную культуру, где каждое слово, каждое действие мягко подталкивает к правильному выбору. Человек не замечает, как постепенно отказывается от сомнения, как начинает бояться не наказания, а отклонения, не страха, а осуждения. И тогда санитар, когда-то стоявший в коридоре больницы, навсегда поселяется внутри, в голосе совести, в страхе перед ненормальностью, в желании быть понятным, в стремлении соответствовать, быть «здоровым», быть как все.

Освобождение от этого внутреннего голоса, обретшего власть не через принуждение, а через внедрение в самую ткань сознания, не может происходить снаружи — ведь внешнее давление лишь укрепляет его позиции, позволяя ему говорить от имени разума, ответственности, порядка. Попытка вырваться через прямое сопротивление часто приводит лишь к смене масок, где санитар становится уже не носителем нормы, а символом внутренней тревоги, голосом, упрекающим за «неправильное» сопротивление. Потому первое, что становится необходимым, — это научиться видеть, как именно была устроена эта машина: где и как появились мысли, будто бы принадлежащие самому себе, но сформированные в диалоге с теми, кто когда-то решал, что считать нормальным, правильным, нужным.

Это требует не бурного восстания, а тишины, внимательности, кропотливого наблюдения за собой — не с целью подчинения, а ради распознавания следов чужого влияния. В каждом суждении, в каждом

спонтанном порыве прячется память о правилах, об одобрении или осуждении, и именно в умении распутывать этот клубок заложена возможность другого взгляда. Но и это ещё не свобода. Даже разоблачая внутреннего надсмотрщика, невозможно одним движением стереть его силу: он остаётся, меняет голос, становится утончённее, просачивается в новые формы — в язык критического мышления, в риторику саморазвития, в требования к «аутентичности» и «эффективности».

Истинное освобождение — не в замене одной нормы другой, не в отрицании дисциплины как таковой, а в способности обнажить сам механизм нормализации, освещая его изнутри, не отступая, но глядя прямо. И тогда, шаг за шагом, может начаться процесс возвращения к тому, что ещё не было оформлено системой, к неясному, зыбкому, непричесанному — к возможности чувствовать и мыслить, не отталкиваясь от заранее утверждённого эталона. Это путь без гарантий, без образца, без модели, потому что любое предписание уже становится началом нового надзора. Но, возможно, именно в этом отказе от окончательной уверенности и кроется первая трещина в стене темницы.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Benjamin, R. (2019). *Race After Technology: Abolitionist Tools for the New Jim Code*. Polity Press.
- Eubanks, V. (2018). *Automating Inequality: How High-Tech Tools Profile, Police, and Punish the Poor*. St. Martin's Press.
- Foucault, M. (1977). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. Vintage.
- Foucault, M. (1980). *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972–1977*. Pantheon.
- Foucault, M. (1982). The Subject and Power. *Critical Inquiry*, 8(4), 777–795.
- Noble, S. U. (2018). *Algorithms of Oppression: How Search Engines Reinforce Racism*. NYU Press.
- O'Neil, C. (2016). *Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy*. Crown Publishing.
- Deleuze, G. (1992). Postscript on the Societies of Control. *October*, 59, 3–7.
- Amoore, L. (2020). *Cloud Ethics: Algorithms and the Attributes of Ourselves and Others*. Duke University Press.
- Pasquale, F. (2015). *The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information*. Harvard University Press.
- Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism*. PublicAffairs.
- Kriger, B. (2025). The disciplinary logic of knowledge and the architecture of subjectivity: Rethinking Michel Foucault in the age of artificial intelligence: On power, language, and the invisible programming of human and machine consciousness. *The Common Sense World*.